

**Встречи с Иосифом Бродским**  
**К 70-летию Иосифа Бродского**  
(выдержки из эссе “Единицы времени”)

**Диана Виньковецкая**

По нашей северной столице в шестидесятые годы ходили стихи Иосифа в листочках. Их перепечатывали, размножали, переписывали. “Бродский сразу спустил на воду броненосец – его видно издали, других можно было разглядеть в океане поэзии только через бинокль или подзорную трубу”, – скажет писатель Давид Дар, в те времена влиятельный наставник молодых литераторов и поэтов. Одним из самых первых “издателей” стихов Бродского и распространителей был Константин Кузьминский. Он собрал полного Бродского на декабрь 1962 года, и через его иностранные знакомства, в частности через Сьюзен Масси, стихи двинулись на Запад.

В казахстанской степи был расцвет лета, в логах гор Кызыл-тау всё цвело и пело. В этот день я услышала стихи. В степных горах я впервые, на студенческой практике в геологическом маршруте, иду чуть позади Якова Виньковецкого, – старшего геолога, художника-абстракциониста, которого несколько побаиваюсь и соблюдаю природно-подчинённую дистанцию. У нас нет никаких отношений, хотя я позвонком знаю какую-то предсудьбу, чувствую что-то тревожно-неслучайное во всём происходящем. Смотрю. Тут нет никакой цивилизации, ни зимовок, ни юрт, ни троп – первозданность – природа до нас. Откуда-то издали доносится звук воды. Степи хорошо прячут оазисы. Около источника присаживаемся. “Давайте я вам почитаю стихи Иосифа Бродского?” – вдруг говорит Виньковецкий. И, уловив ответ, только мелькнувший в моей голове, а скорей всего, и не думая его дожидаться, он начинает читать:

“Плывёт в тоске необъяснимой...”

Море звуков сразу приходит в движение... Каждая вещь начинает двигаться... Саксаул, кустарник, камни. Круженье...

“Плывёт в глазах холодный вечер...”

И в тоске и объяснимой, и необъяснимой поплыли слова, желая страсти. Пение птиц и звук стихов сливаются. Всё видимое углубляется в слышимое и воплощается в ритме. Как будто во сне, под волшебным влиянием, всё одушевляется. Колдовство. Я испытываю завораживающее действие от магии ритма, почти ничего не понимая в содержании. Я не слежу за словами, а слушаю сама не знаю, что – полноту своего существования? Ввысь унеслось моё дыхание. И в самый короткий миг, в самый краткий атом моей жизни, я ощущаю прилив счастья. Яков читает стихи ритмично и размеренно, как молитву, как песнопение, без актёрского придыхания (Иосифу нравилось Яшино прочтение – как он называл – единственное во всей вселенной, после него). Кажется, что вся предыдущая жизнь была лишь подготовкой к этому моменту. Всё: яркая, мистическая внешность Якова, ритм стихов, простор степи, загадочность, голос судьбы – действует на меня магнетически. Танец слов превращается в любовь. Я поднимаюсь на высшие ступени чувства – к высшему желанию.

Я приобретаю самую дорогую драгоценность, которую пронесу до самой смерти Якова.

Воздействие стихов было важнейшим открытием моей жизни. Мне ещё предстояло прочесть эти стихи и услышать их из собственных уст автора. И за свою судьбу-любовь ещё предстояли отчаянные поединки. “Пора давно за всё благодарить...”

Иосиф, в первое наше официальное знакомство в филармонии, когда Яков представил ему меня как свою жену, слишком удивился, смотрел на меня с внимательным нескрываемым любопытством, так проникательно, что я глазами выразила недоуменье,

мы как бы столкнулись глазами, он отвёл глаза и, мне показалось, смутился. Казалось бы, я должна была смутиться, он уже тогда был подпольной знаменитостью, а тут как-то наоборот получилось. Возможно, что испытывающий взгляд, каким он смотрел на меня, ему самому показался “слишком”... “Главное орудие эстетики – глаз, абсолютно самостоятельный”. Я во всеоружии встретила его “орудие эстетики”. Почему-то он сказал Якову: “Джейкоб, ты, как белый пароход”, и что-то про меня, что я такая крошечная и совсем славянского рода или вида. Я посмеялась в ответ: “Исполнилась мечта маленькой девочки – она села на Белый пароход”. Иосиф чуть улыбнулся: “Девушки редко позволяют себе шутить”. Я ощутила симпатию. Он мне показался красивым, держится властно, ощущает себя где-то в переносице. Только много позже я поняла, как не всегда можно было ухватить внутреннюю мысль какой-либо тирады Иосифа, проникнуть в подспудный пласт его развёрнутой метафоры или мысли. Он умел высказываться окольными путями. Ведь на самом деле я даже сейчас не знаю, что подразумевал Иосиф под “Белым пароходом”? Может, это была просто шутка? Я же вложила в “Белый пароход” своё переживание.

Почти через тридцать лет, за два дня до получения Нобелевской, Иосиф написал:

“...Такая как ты, Дина, на свете одна-едина”.

И, как я шучу, за это и получил премию...

Что внутренне созерцала я тогда, в те казахстанские времена, когда встретила в экспедиции Якова Виньковецкого и Ефима Славинского – друзей Иосифа Бродского... Сколько они прочли и как хорошо всё знали! Они читали по-английски Беккета, Фолкнера, обсуждали английскую поэзию, Фроста, Элиота, её аналитический принцип расчленения, вставляли английские фразы. Говорили о чём-то мне совсем неизвестном, использовали слова, которых я никогда не слышала. Экзистенциализм. Экспрессионизм. Метафизика языка. Априорная музыка.

“Никто не знал литературу лучше, чем они, никто не умел писать по-русски лучше, чем они, никто не презирал наше время сильнее”, – скажет Иосиф в своей Нобелевской речи. “На пугающем своей опустошённостью месте”, среди общепринятой заскорузлости вырастали эстеты-индивидуалисты.

После того как я вышла замуж за Якова Виньковецкого, я вошла в круг Ленинградского «подполья» – друзей Яшиной юности – и познакомилась со многими из них (о Ленинградском *underground* я написала эссе «Обнимаю туман»). Были встречи, чтения стихов, обсуждения, выставки в Домах культуры и частных квартирах. Я назову несколько таких «мест»: клуб Бориса Понизовского посещали разные привлекательные личности: поэты Иосиф Бродский, Глеб Горбовский со стихами о коммунально-сюрреальном быте, писатель Андрей Битов, художники Лев Нусберг, Михаил Кулаков, писатель и любитель острот Сергей Вольф, рассказывающий так артистически анекдоты, с таким удивительным звукоподражанием, что, как только он открывал рот, публика уже хохотала. У Юрия Цехновицера (Цеха) – архитектора, художника, фотографа – в его знаменитой квартире на Адмиралтейской набережной тоже собирались “свободные художники”. “Идёшь к Цеху, надеваешь шляпу, кругом девушки...”, – напишет Иосиф в одном из эссе. В нашем архиве есть фотография Иосифа, сделанная Цехновицером в его квартире, где Иосиф в шляпе под зонтом смотрит в громадное зеркало и отражается в нём вместе со стоящим за треножником Юрием.

В нашем доме выпивали, знакомились, спорили, дружили, вели метафизические разговоры, обсуждали новости, увлекались какой-то книгой, читали стихи, запрещённую литературу. Голландский друг Иосифа, Кейс Верхейл, напишет: “В полувоенной обстановке той поры в “полутора комнатах”, во множествах других комнат и кухонь я

познал дружбу столь высокой пробы, какую вне России встречал крайне редко. Настоящую, конкретную, полную риска”.

Вспоминается, как однажды Яков и Иосиф обсуждали с Борисом Вахтиным влияние религии на сознание. “Вы – язычник, сударь”, – говорил Яков Иосифу, как будто симпатизировавшему политеизму и предполагавшему, что любая форма человеческой деятельности освящена различными божествами. В эссе “Бегство из Византии” Иосиф потом сравнит монотеизм с диктатурой.

Однако не “всем богам он посвящает стих”, и неоднократно Иосиф говорит и пишет о своём интровертном восприятии религии как монотеистическом векторе.

Индивидуальное ощущение отдельных Яшиных друзей меня восхищало. (“Мы были американцами ещё до того, как сделали первый шаг по американской земле”, – так скажет в интервью Иосиф Бродский).

Всё строилось на лжи и было готово распасться в любой момент, как и произошло. “Бог сохранил не всё, и фараоны пали”. И в этом распаде, всем известно, не последнюю роль играла литература и поэзия. Как выразится Иосиф, его “доля тоже стала ингредиентом нового варева”. Стихи колеблют весь жизненный уклад. Власти боялись стихов. И правильно делали.

Яков и Иосиф зимой (года два) снимали в Комарово дачу академика Берга, которой владела и распоряжалась его дочь, генетик и учёный Раиса Берг. На первом этаже дачи, где располагался Яков с банками ацетона, красками, холстами, досками, в один из дней загорелась круглая печка. Яков вызвал пожарных, и они довольно быстро потушили пламя, хотя кое-что и сгорело. Иосифа в этот день наверху не было. На второй этаж пламя шло по трубе от печки, которая сгорела вместе с картинкой “Поклонение волхвов”, вдохновившей Иосифа на первые рождественские стихи. Картины Якова остались целы.

Через несколько дней мы с Яковом зашли к переводчику Ивану Алексеевичу Лихачёву, жившему на Каменно-островском проспекте, удивительно милому человеку. Как переводчик он участвовал в антологии новой английской поэзии Гутнера, вышедшей в 37 году, сразу всех переводчиков антологии посадили, и Иван Алексеевич провёл восемнадцать лет в лагерях. Он знал бесчисленное количество языков и музыки. Коллекция музыки была у него миллионерская, уникальная, изысканная. Иван Алексеевич вёл семинары молодых переводчиков при Союзе Писателей, которые посещал Иосиф. “Замечательный был господин! – скажет о нём Иосиф. – Большой, тонкий человек”.

Яков и Иосиф любили заходить к Ивану Алексеевичу, они обменивались пластинками, записями, мнениями о музыке.

В тот вечер, когда мы пришли после пожара, у Ивана Алексеевича был Иосиф и ещё какие-то мужчины, они сидели за столом, ели и слушали музыку. Мы присоединились.

“Честность – это не вкус”, – сказал о ком-то Иван Алексеевич, кажется, речь шла о современном композиторе. Затем он что-то спросил Якова про пожар – Иван Алексеевич дружил с Раисой Львовной Берг – она и познакомила Якова с Иваном Алексеевичем. Яков рассказал о реакции Раисы Берг на пожар: “Не расстраивайтесь, Яша, главное, что не сгорели ваши картины, а на дачу наплевать – она застрахована”. – “Всадил кинжал в грудь де ля Рю, а тот сказал: благодарю!” – отреагировал Иван Алексеевич, восхитившись поведением Раисы. Все засмеялись. Возникло общее одобрение щедрости Раисы и необычности её реакции. И вдруг Иосиф наперекор всем говорит: “Раиса Берг – вздорная старуха”. Он был сумрачный, чем-то раздражён и излучал некоторое беспокойство. Иван Алексеевич спокойно возразил Иосифу, сказав, что Раиса – блистательная женщина, меценат, покупает картины, помогает художникам. “И вы ведь тоже живёте у неё на даче”. Иван Алексеевич при всём его мягком характере мог быть язвительным и остроумным. Иосиф заторопился, собрал какие-то пластинки и стал откланиваться. Иван Алексеевич, пожимая руку Иосифу, который уже надел кепку, с улыбкой спросил: “Вы считаете, что

это дурной вкус – со многими соглашаться?” Иосиф ухмыльнулся, сказал всем: “Гуд Бай!” как-то рассеяно, и уже без всякого раздражения. После ухода Иосифа Иван Алексеевич с некоторым восхищением сказал: “Немногие в силах сохранять свою независимость. Видно, сперва нужно отрицать, а потом уже и любить, и сострадать”.

“Жизнь сложна... Затем она лишь и нужна, чтоб праздновать в ней день рожденья”.

Один из дней рождения Иосифа, который он праздновал в своей квартире в мавританском доме Мурузи, я хорошо запомнила. Как известно, в том доме, похожем на торт, много чего происходило: жили Мережковские, А.А.А. последний раз в этом доме видела Гумилёва. А я первый раз шла к Бродскому на день рождения.

Идем с Яковом по знакомому Литейному проспекту в направлении, куда нам нужно, прошли Дом офицеров, “обителью, где царствовал сквозняк, качался офицерский особняк”. И вдруг видим самого раскачивающегося поэта Иосифа с сигаретой в руках – он прогуливается вдоль стены своего дома. “Раскачивался тенью на стене...” (как раз под вывеской, где сейчас висит его мемориальная доска).

– Что ты тут стоишь? – спросил его Яков. А у меня мелькнула мысль – “ещё одна оригинальность “наших” – приглашать в дом, а самим уходить”.

– Вы идите в дом, – говорит Иосиф, – я жду людей. Из Москвы должны приехать люди, они не знают, где в Питере входы и выходы.

– “Ну, что ж, – засмеялась я, – будем веселиться без Героя. И мы вошли в комнату с громадными потолками и пилястрами, заполненную людьми, сидящими за столом, показалось, что приглашённые уже давно празднуют день рождения героя, не замечая его отсутствия. Общее впечатление было праздничным, стоял шум, мы втиснулись в поставленную на две табуретки доску. Не успели мы как следует пристроиться, как появился Герой вместе с людьми, пришлось потесниться и усадить московских людей тоже на самодельную скамейку. Иосиф прошёл на своё место в центре стола у окна. Среди общей болтовни слышно: Вася Аксёнов... Я весьма удивилась, когда узнала, что “людьми”, которых ждал Иосиф, оказались Вася Аксёнов с женой Майей. Аксёнов был в зените славы, гости сразу как-то переглянулись, когда его узнали.

У Иосифа я не заметила никакого придыхания, ни грамма предпочтения, ни пристрастия, ни замешательства, ни мельтешения. “Жду людей”, – это запомнилось навсегда, как урок собственного достоинства. Этот крохотный эпизод врезался тогда мне в память, потому что внешний успех других людей не трогал ни Якова, ни Иосифа так, как многих других. Каждый из них преклонялся только перед Высшим.

Мать Иосифа М.М. сидела рядом со мной, не суетилась, не бегала взад и вперёд, а была преисполнена спокойного величия. Она одобрительно слушала, как я с Майей, женой Аксёнова, обсуждали находившихся красавиц. За столом сидело множество красавиц, только будто не разные красавицы, а одна и та же – Сара Леандер? Не знаю, напоминал ли кто-нибудь из присутствующих её, но, по словам Иосифа, она была для него идеалом женской красоты. Совпадают ли идеалы с возлюбленными? Во всяком случае, Иосифу его “романтическая карьера представляется... наиболее удовлетворительной”.

Кто-то предложил спеть “Лили Марлен” в переводе Иосифа:

Есть ли что банальней смерти на войне  
и сентиментальней встречи при луне,  
есть ли что круглей твоих колен,  
колен твоих, их либе дих,  
тебя, Лили Марлен, моя Лили Марлен... -

понеслось под пятиметровый потолок. Пенье без музыки. Пели, кто во что горазд, одну и ту же ноту не выводили, хотя Иосиф и постукивал ладонью по столу, пытаюсь как-

то дирижировать. Лучше всех пел Яков, или так мне казалось, у него был глубоко окрашенный голос и чувствительное ухо. Пишу с пристрастием.

Самая изысканная толпа, когда людей много, становится скучной. Никто не знает, что говорить, чтобы не показаться глупее другого, обмениваются вымученными репликами, и под поверхностью разговора часто улавливается некое соперничество. Каждый индивидуален, если не сказать – эгоцентричен. Открещиваясь от коллективной идеологии, впадаешь в другую крайность.

“Встреча творческой молодёжи”, – так назывался вечер в Союзе писателей в январе 1968, который совпал с днём рождения Якова. Для того чтобы эта “встреча” прошла, была приложена масса ухищрений, вовлекались все более или менее приличные силы и связи. Борис Вахтин был одним из главных – у него были не только влиятельные знакомства (он был сыном Веры Пановой), но и фантастическое обаяние, которое действовало даже на сверх партийных женщин. Он собрал всё: и связи, и обаяние, и волю. Только творческими усилиями таких людей, как Вахтин, в том царстве несвободы происходило что-то человеческое, настоящее. На первом этаже была выставка Яшиных творений, а на втором, в красивом колонном зале – чтение... Много написано об этом вечере и у Серёжи Довлатова, и у Якова Гордина, и у меня. Я не буду останавливаться на том, сколько пришло людей на встречу, какой гвалт и шум стоял в абстрактном зале.

На том вечере впервые после ссылки выступал Иосиф Бродский. И вдруг внезапное общее опьянение, – такое чувство рождается у большой толпы, когда происходит единение зала с оратором, певцом, музыкой. Это с невероятным напором Иосиф Бродский начал читать свои “псалмы”. “Ты поскачешь во мраке, по бескрайним холодным холмам...” Он читал, не подчёркивая никаких стилистических нюансов, с колоссальной монотонностью, нагнетая стих, и к концу расходясь в полную силу. В зале Союза писателей то же колдовство, как и в моей агадырской степи, и так всегда при его собственном чтении.

Через четыре года после вечера творческой молодёжи, или “сионистского шабаша”, по определению отдельных товарищей, Иосиф покидает отечество. Яков едет провожать Иосифа в аэропорт, я же не могу по причине глубокой беременности. “Остановленные моменты” последнего пребывания Иосифа в России засняты фотографом Львом Поляковым. Никаких бумаг Иосиф не вёз, и вообще ничего не вёз. Всё обошлось, Иосиф ушёл в таможеню, “прошёл сквозь строй янычар в зелёном”, и полупрозрачные двери аэропорта закрылись. “Означенной пропаже дивятся, может быть, лишь вазы в Эрмитаже”.

После отъезда Иосифа наш друг, писатель Володя Марамзин начал собирать по разным домам его стихи. Володя был язычески жизнелюбивым человеком и блестящим организатором. Для стихов Володя создал целую сеть подпольных перепечаток, хорошенькие машинистки с удовольствием ему помогали, втягивались в ритм стихов, и, разбросанные по городам, стихи Иосифа оформлялись в тома. В этом был большой риск, но ради красоты поэзии – спасали мир.

“Владимир Рафаилович – это не первоапрельская шутка”, – сказал сотрудник всем известной организации (какой юморист!), когда они пришли обыскивать Володину квартиру. Это было первого апреля, и это была не шутка, а сеть обысков с намереньем КГБ выявить антисоветский заговор, объединив стихами Иосифа Ленинград с Москвой во главе с литературоведом, профессором Ефимом Григорьевичем. Эткиндо. Это был случай чистой провокации и абсурда. Ищут стихи. На Западе гоняются за деньгами, а у нас за стихами.

Обысканты добрались и до нас (обыск я подробно описала в книжечке «Америка, Россия и я»). Я с ними, особенно с одним, иронично кокетничала. Я их не боялась, потому

что была уверена, что им самим где-то в глубине позвонка стыдно, да и все стихи и книги были в безопасности. “Вы – ведь русская, а туда же...”, – укоризненно заметил один из сотрудников, на что я развернула свою концепцию русскости. “Только тот, кто знает русскую литературу, русскую историю, русскую поэзию так, как мой муж Яков, только тот может называться русским, а мы-то с вами...” На что один из них произнёс: “Вот так каждая жена должна думать о своём муже!” Я усмехнулась: “Ваши – так не думают”. И как я уже неоднократно писала, женщины элегантнее мужчин и любят воинов, создателей, творцов... А жалеть можно только жалких. “Долг смертных ополчиться на чудовищ”.

Начался опять суд над стихами и статьями о них. До автора стихов уже было не добраться, а вот Володя Марамзин был под рукой, его и арестовали. Собранных томов не нашли, может и нашли, но не там, где искали. Наверно, у многих нашлись горбатые тётки с тюлевыми пододеяльниками, для которых самыми важными оказываются чисто человеческие дела, любовь к племянникам, а не идеология.

Я не буду излагать ни стенограммы суда, ни допросов, ни детективную историю высвобождения Марамзина, в которой участвовали: картины, связи, страхи, сантименты, любви... и высшие сферы, где только шелесты крыльев серафимов. Шаги Андропова...

Марамзина сразу после суда выпустили, а мы получили разрешение на выезд.

Когда мы переменили империю, если можно теперь так ласково назвать, и приехали в Нью-Йорк, Иосиф был в Энн-Арборе. Переехали “из мира нагана в мир чистогана”, – эту фразу Иосифа из его письма к Якову я взяла названием одной из глав моей книги про Америку. “Это – продолжение в пространстве выглядит на крепкую тройку”, – пишет Иосиф и предупреждает Якова, чтобы его надежды не зашли слишком далеко. “Академия (университетская жизнь) состоит из того же материала, что и везде... и ты не должен слишком страдать от равнодушия”. “Яков, нет эмиграции – есть житьё за границей”.

“Снявши пробу с двух океанов и континентов, я чувствую то же почти, что глобус. То есть, дальше некуда”.

Тут, в Америке, жизненный ритм другой. Тут всё не похоже на нашу петербургскую жизнь, и более того, не похоже на наш предполагаемый образ, “чужого неба волшебство”. Здесь тишина, и нет никаких шумных посиделок. Каждый живёт уединённо. Тут люди не ходят друг к другу так запросто, встречаются только в кафе и ресторанах, не болтают и не ссорятся, ни на что не обращают глаз, молчат, и неизвестно, о чём думают.

“Трагедийная интонация всегда автобиографична”, – позвонил мне Иосиф после трагического завершения Яшиной жизни. У него в это время умер отец. Иосиф что-то говорил, что я должна выживать в любой ситуации, не строить из себя жертву. Самое ценное произведение – это твоя жизнь... Я запомнила: “Ты – метафизическая единица”.

И “Метафизическая единица” начала новый этап в своей жизни... уже без Якова. Надо сказать, что я никогда, ни при каких обстоятельствах, из себя жертву не строила.

Написав “свою Америку”, я послала рукопись Иосифу с записочкой, что, мол, не опозорила ли я свою “уникальность” этим писанием? С трепетом ожидала ответа.

“Ай да Дина, Ваша хевра удостоилась шедевра”, – ответил Иосиф.

В нашем последнем телефонном разговоре (наш разговор проходил за несколько дней до его смерти) Иосиф говорил мне вдохновляющие слова: “Валяйте! У Вас получается...” Ему понравилась композиция моей “Америки” и... “движения души”. Иосиф обещал меня поддерживать самым конкретным образом, писать об этом неловко, скажу только, что после такого одобрения у меня “душа запела” – я насовсем ушла в писатели. И как Иосиф произнёс в конце нашего разговора, я тоже скажу: «Мяу».